

М.В. Сабашникова

Из книги "Зеленая змея"

Впечатления переполняли мою душу, я торопилась поделиться с мадам Бальмонт*. Она с радостью сообщила: поэт и художник Макс Волошин, ее парижский друг, - только что приехал в Москву. Уже сегодня -- сегодня -- я увижу его. Вечером -- в картинной галерее Щукина, куда мы все приглашены (1).

* Тетка М. Сабашниковой -- Екатерина Алексеевна Бальмонт.

Дом -- жемчужина архитектуры XVIII века -- вместил собрание лучших работ Моне, Ренуара, Дега, Тулуз-Лотрека. Целый зал отведен Гогену, в то время совсем неизвестному мне. Французская живопись поражает, изумляет. Теперь -- все мои мысли -- о Париже. Как хочется поехать туда, чтобы лучше узнать все это великолепие красок!

Портрет Волошина. А ведь я помню... На выставке он был рядом с моей картиной... Характерный типаж Латинского квартала -- плотная фигура, львиная грива волос, плащ и широченные поля остроконечной шляпы... В жизни он, пожалуй, не таков... Хотя, конечно, все та же косматая шевелюра, неуместные в приличном обществе укороченные брюки, пуловер... Но глаза глядят так по-доброму, по-детски; такой искренней энергической восторженностью лучатся зрачки, что невольно перестаешь обращать внимание на эпатирующую экстравагантность обличья... Мы возвращались вместе, и он раскрывал мне мир французских художников, тогда это был его мир...

О Волошине заговорили... Одна из своеобразных черт русского общества того времени: каждое новое лицо встречали с восторженным интересом. Это ни в коей мере не было провинциальным любопытством, о нет, люди просто верили в необходимость и возможность перемен, жаждали обновления... А Макс? Его внешний облик, парадоксальное поведение и, наконец, удивительная непредвзятость по отношению к любой мысли, любому явлению... И эта его радость, бывшая ключом. Он был радостный человек, для России непривычно радостный. Ему уже минуло 29 лет, но детскость, искрящаяся детскость оставалась сутью, основой его личности... Он говорил, что не страдал никогда и не знает, что это такое... Странник... "Близкий всем, всему чужой" -- это из его стихотворения, это он сам... Налет импрессионизма отличал его тогдашние стихи. Он великолепно переводил Верхарна, переводы появились в печати (2). Интересной показалась мне его пейзажная живопись... Он вернулся в Париж. От него приходили письма -- странно выписанные буквы, прямой наклон строк, парижские впечатления. Я воспринимала все это как что-то вычурное, парадоксальное. Впрочем, не могу сказать, что Макс чрезмерно занимал меня: вокруг искрилась и кипела увлекательная жизнь! <...>

Мне хотелось еще более расширить свой мир, серьезно учиться живописи, работать. Но отец и мать (3)... они и не собирались отпускать меня. <...> Картина

"Убийство царевича Дмитрия" принесла мне двести рублей. По закону я уже достигла совершеннолетия. Однако намерение поехать в Париж родители приняли враждебно. Ссоры, неприятные объяснения. Наконец -- компромисс: я еду с тетей Таней *, ей предназначалась роль опекуны. Но, замкнутая, независимая, она не стеснила моей свободы.

* Татьяна Алексеевна Бергенгрин (урожд. Андреева, ок. 1851-- ок. 1945).

И вот старый отель (4), из окон -- Одеон в Люксембургском саду. Утро начинается с прихода Макса, а дальше -- круговорот музеев, церквей, мастерских художников, и -- набегами -- парижские окрестности: Версаль, Сен-Клу, Севр, Сен-Дени... Мне так радостно! Я все время чего-то жду... В утренней серебристости Парижа странно перемешиваются ароматы фиалок, мимоз и угольная копоть... С жадностью дышу... Сколько столетий складывалась эта атмосфера, как она пленяет душу и уносит, влечет... На глазах у тебя словно бы создается история во всем единстве и колебании своих противоположностей... Но Франция верна себе, своему ритму. Грандиозный размах города не подавляет, все здесь пронизано какой-то интимностью, уютом, все создано людьми и для людей. Переплетаются традиционное и наступающая новизна. Мчатся экипажи -- щелканье кнутов, колокольчики, стук копыт по мостовой. Странная гармоничность пронзительных завываний рыночных торговки. Возбужденно кричат продавцы газет. Врезаются мелодичные гудки редких еще автомобилей... Всё иное, не такое, как в других городах, во всем открывается удивительный французский стиль!

Но разве Париж -- не только Франция? Нет, это весь мир! Двери музеев и библиотечных залов распахнуты во все страны и эпохи, ты в самом сердце человечества, в самом сердце культуры...

Впечатления были сильны и загадочны, порой подавляли. Брожу по Лувру -- из Египта в Грецию -- изумление, шок!.. Но рядом со мной -- Макс, его меткие афоризмы быстро -- пожалуй, даже слишком быстро -- развеивают мое настроение. Для него это уже привычная гимнастика ума: подбирать, встраивать точные легкие формулы слов, и я льну к его почти ребяческой манере; она защищает меня от разверзшихся бездн минувшего и нынешнего... Он чудесный товарищ, он щедро оделяет меня богатством своих знаний -- мемуары, хроники, исторические сочинения...

Улицы Парижа... Изобилие цветов на сером фоне... Наряды женщин... Дамские шляпы в то время были фантастически красивы и разнообразны. Тетя купила мне большую шляпу -- голубая бархатная лента, живописные букетики искусственных васильков... Макс воспел ее в одном из своих стихотворений (5)...

Май и июнь заполняются напряженной работой -- этюды у Коларосси, мастерская Люсьена Симона, интересного бретонского художника. Вечера в ателье художницы Кругликовой, где собирались люди искусства чуть ли не из всех стран мира. Звучали стихи разноязыких современных поэтов, блистали испанские и грузинские танцы...

Одно из самых захватывающих впечатлений моей жизни -- первое выступление юной Айседоры Дункан (6) -- подлинное воскрешение античной Греции. <...>

Но меня вызвали в Москву (7)...

...Осенью -- снова Париж. На этот раз мы едем с Ньюшей *. Она будет учиться пению, я -- живописи. В душе моей проступают будущие картины. Но у меня еще так мало опыта, я не знаю, как буду работать. Мама хотела, чтобы мы поселились в одном пансионе, мы так и сделали. Крошечная мансардная комната, вид на Монпарнас, на собственную мастерскую денег не хватило.

* Анна Николаевна Иванова -- двоюродная сестра М. Сабашниковой (см. сноску на с. 95)

И Макс, неперенный Макс!.. Он журналист, он отыскивает все самое интересное и интересно описывает. Он снова водит меня по бесчисленным мастерским художников и скульпторов, на выставки... Случается, мы попадаем в самые неожиданные места. Например, на танцевальный вечер русских парижан, в большинстве своем это были потомки прежних известных русских эмигрантов, борцов за свободу, соратников Гарибальди, Кавура, Гервега (8). Но меня постигло разочарование, я попала в обычный кружок элегантных парижан, здесь господствовали весьма поверхностные интересы.

Побывали мы и у наших русских революционеров. В задних комнатах кафе публика собралась совсем простая: растрепанные, небрежно одетые студентки, курсистки. Свежие румяные лица новоприбывших из российской провинции, а рядом позеленелые от недоедания физиономии парижских "аборигенов". Мне претили фанатические интонации и царивший здесь дух грубой политической пропаганды. Неужели от этих людей зависит спасение России? Чисто выбритые, с тонко очерченными лицами, парижские кельнеры бросали иронические взгляды на этих скифов -- мне сделалось неловко, стыдно...

В ту осень мое восприятие Парижа изменилось. Я уже не была путешественницей, погруженной в красоты нового города... Передо мной внезапно возник страшный, замкнутый в себе самом, ослепленный мир, безудержно несущийся к пропасти. <...> Я познакомилась с Бенуа и Сомовым, прожившими в Париже уже несколько месяцев. Как удивительно было входить с их помощью в утонченную атмосферу искусства и культуры XVIII века. <...> У мадам Гольштейн, по-матерински опекавшей Макса, я подружилась с Одилоном Редоном (9), мы с Максом бывали у него дома... Мир его живописи, своеобразный, свободный от влияния импрессионизма и натурализма, лишенный малейшей тени стремления к успеху!.. Папки с этюдами, выполненными пастелью, дивные созвучия красок, настроение готических витражей, акварельные цветы -- фантастически пестрые, и тут же -- тончайшие наброски углем -- мимолетный жест, запечатленное ощущение тайны. Художнику уже немало лет, и мало кто понимает его искусство, но он лишь улыбается тихо и кротко, он любит предметный мир и помогает ему воплощаться в красках. Пройдет время -- и Редон получит признание... Особенно запомнился мне один рисунок углем: голова Сатаны... Поражал взор, исполненный нечеловеческой печали, устремленный в беспредельную пустоту (10)...

Мадам Гольштейн, одна из немногих почитательниц Редона, была родом из России, но постоянно жила в Париже. Она лишилась второго мужа, дочери ее были замужем. Средством для жизни служили ей литературные заработки. Мадам Гольштейн собирала вокруг себя лучших представителей русской и французской интеллигенции. Миниатюрная; голова резко вскинута вверх, шея искривлена -- следствие неудачной операции; умное оживленное лицо дышит задором -- такой она осталась в моей памяти. Эта женщина все в мире делила надвое -- любимое ею и вызывающее категорическое ее неприятие. Порой суждения ее отличались чрезмерной суровостью. Я подошла к ней на первой парижской выставке Ван Гога. Реплика ее была ошеломляюще-жесткой -- цитата из Бодлера: "Jehais le mouvement, que deplace les lignes!" *

* "Ненавижу движение, смещающее линии!" (Франц.)

В то время мадам Гольштейн покровительствовала мне. Позднее, когда я подружилась с Вячеславом Ивановым, которого она не терпела, пришлось отказаться от общения с ней. Этой женщине я обязана знакомством с такими поэтами, как Рене Гиль, Садиа Леви, и другими. Передо мной раскрылся чрезмерно утонченный мир французской поэзии, где так трудно было добиться свежего звучания, достигнуть новизны.

Вдвоем с Максом я посещала увеселительные заведения аристократических и рабочих кварталов. Макс повсюду чувствовал себя "своим", легкость мысли служила ему своеобразной опорой. А я, в свою очередь, опиралась во всем этом хаосе на спокойную веселость и уравновешенность моего спутника. Сначала меня поражала его терпимость, потом я поняла, что за этим кроется высокая зрелость души. И в то же время сколько в нем было непосредственности! Вот он рассказывает что-то интересное, развивает какую-нибудь оригинальную идею; и так удивительно походит на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, озорно покусывающего случайно попавшую в зубы тряпку. <...>

То было время увлечения Макса различными оккультными учениями поры Французской революции. Как-то он рассказал мне поразительный эпизод: на великосветском собрании один из присутствовавших предсказал каждому, а затем и самому себе все подробности трагической гибели. Предсказание очень скоро сбылось, это подтверждается мемуарами современников (11)... Но как же возможность предсказывать будущее соотносится с понятием человеческой свободы? Вопрос свободы человека -- вот что занимало меня и казалось решающим. Если нет свободы, все остальные вопросы -- мораль, добро, зло -- не имеют смысла.

Подобные проблемы заполняли все мое время, я написала всего несколько пейзажей и портрет Чуйко (12). Его увлекли в Париж мои восторженные письма об этом городе. Помню его трогательную преданность Нюше и мне. Как он опекал нас! Слово добрая нянюшка. <...>

Весной внезапно перестал бывать Макс. Я огорчилась, терялась в догадках. Откуда мне было знать, что мое ровное, совершенно дружеское отношение к нему причиняет ему страдания. Нюша уехала в Россию. Я почти приготовилась к своему

парижскому одиночеству, когда произошла встреча с петербургской приятельницей мадам Бальмонт -- Анной Рудольфовной Минцловой (13). Она поселилась в том же пансионе, что и я. Мы были немного знакомы по Москве, тогда я мучительно размышляла о материализме. Помню ее слова на концерте: "У скрипки есть душа". Я почувствовала зависть: человек может верить в подобное; но одновременно меня захлестнула волна обиды: почему она не захотела развить, объяснить свое утверждение?! Теперь я увидела 45-летнюю женщину с бесформенной фигурой, чрезмерно широким лбом -- такой можно разглядеть у ангелов на картинах старогерманской школы; с выпуклыми голубыми глазами -- она была очень близорука, но казалось, перед ее взором -- какая-то безмерная даль. Рыжеватые волосы, волнообразно завитые, причесанные на прямой пробор, -- в постоянном беспорядке, пучок на затылке едва держался, шпильки выпадали... Грубоватый нос, чуть одутловатое лицо... Но руки! -- белые, мягкие, с длинными тонкими пальцами, -- и кольцо -- аметист... Здороваясь, она удерживала протянутую ладонь дольше обычного и слегка ее покачивала. В Москве эта привычка казалась мне очень неприятной; да еще голос, почти шепотной, словно утешающий сильнейшее волнение, да еще учащенное дыхание, отрывистость фраз, бессвязность слов, будто вытолкнутых сознанием... И одежда -- вечное поношенное черное платье...

В Петербурге Минцлова жила у отца, известного адвоката (14). Познания ее были обширны, и она утверждала, что черпает их из хроник разных времен и стран, читаемых ею в подлиннике. Она прихлялась, что называется, "не ко двору" в том кругу, к которому принадлежала по рождению. Ее мистические пристрастия воспринимались как помешательство, она казалась чуждой и непонятной. Ее не понимал даже отец, человек, видимо, умный, талантливый, но настроенный весьма материалистически и скептически. Впрочем, все признавали ее способности к хиромантии и графологии. Минцлова утверждала, что Екатерина Алексеевна Бальмонт первая по-настоящему поняла ее. <...>

Общение с Минцловой приподнимало над обыденным бытием. <...>

После смерти отца она стала своего рода бездомной, укоренялась то здесь, то там, и повсюду ее появление сопровождалось бурлящим круговоротом людей и событий. В этом круговороте она вовсе не являлась точкой опоры, страстность влекла ее вперед, в неведомое. И страстность эта многим казалась непривычной, эксцентрической. <...> Да, многие смогли, благодаря ей, как бы заглянуть в мир иной, но в то же время ее поведение навлекало всяческие несчастья и в конце концов привело к гибели и ее самое.

Однако я забежала вперед. Тогда, в Париже, она казалась мне доброй феей, могущей разрешить все мучительные для меня вопросы. Я предалась ей с полным доверием. Каким счастьем явилась для меня ее дружба, как ярко вспыхнуло все, что лишь слабо тлело в моей душе! Она гадала мне по ладони и открыла много значительного для меня...

В Париж Минцлову привлек Теософский конгресс, на который ожидалась из Индии Анни Безант (15). В Берлине Минцлова ознакомилась с германским

направлением теософии и упоминала о его вдохновителе таинственными намеками, не называя имени.

Я устроила встречу Минцловой с Чуйко. У Минцловой же возобновилась моя дружба с Максом. Оба они тотчас поддались ее обаянию. Она и им предсказала по руке великую судьбу, таким образом, все мы очень возвысились в собственных глазах...

Возобновились парижские прогулки. Но как же меняется город, когда рядом с нами эта женщина! Перед внутренним взором ее то и дело предстают картины прошлого, и она все описывает нам. Как-то в Пале-Рояле она с такой удивительной достоверностью говорила о людях, живших перед Французской революцией, что я не удержалась и спросила, откуда ей все это известно. Она назвала нескольких писателей, в их числе Гонкуров, я прочитала указанные книги, но там не было ничего подобного! Запомнился мне один вечер, когда на небе стоял ущербный месяц. Мы шли мимо места казни тамплиеров, внезапно на лице ее выразился такой ужас, что я испугалась за нее, после она ничего нам не объяснила...

А вообще она говорила много -- об оккультных течениях времени Французской революции, о средневековых процессах ведьм... Собственные рассказы увлекали ее настолько, что она сама испытывала ужас от своего чрезмерно яркого восприятия давно прошедших событий. Вместе мы слушали на конгрессе выступление Анни Безант. Мне оно показалось примитивным и безвкусным. Безант производила впечатление агитатора, не чувствовалось никакой мистической глубины. Определенным "мистицизмом" (в ироническом смысле) отличалось лишь ее свободное белое одеяние...

Париж одаривал нас своим летним очарованием. Бросали тень каштановые аллеи, повозки полнились цветами -- алыми розами, голубыми васильками... Последнее, что мне запомнилось, было посещение выставки старых английских художников во дворце Багатель (16). Завершался целый период моей парижской жизни. Легкий ветерок нес розовые лепестки -- сквозь широкие окна и распахнутые двери -- прямо на полотна Гейнсборо и Рейнольдса...

Блаженное время прервалось письмом матери из Цюриха. Она хотела, чтобы я позаботилась о брате * -- в Цюрихе Алеша готовился к экзамену... Технические науки... Скучная, лишенная малейшего изящества Швейцария (17)... Как жаль было Парижа и друзей! Я почувствовала себя очень несчастной!..

* Алексей Васильевич Сабашников (1883--1954) -- брат М. Сабашниковой.

Первое письмо Макса:

И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой (18).

Во втором письме (19) он писал, будто в Китае существует закон: человек, спасший жизнь другому, принимает на себя ответственность за дальнейшую судьбу спасенного. Макс считал, что теперь я не имею права покидать его, наши жизни должны соединиться. Меня все это тронуло и в то же время -- испугало. Значит, то, что мы дружили, было совсем иным, не дружбой?.. Да, я должна, обязана... Тогда я даже не подумала о том, что могу ему дать, сможем ли мы всегда быть вместе...

Алеша и Макс пришли к мысли о том, что необходимо "выйти из себя", продвинуться за пределы своей личности, чтобы полно ощутить духовность окружающего мира. Они отправились на Сен-Готардский перевал (20). Вернулись жалкие, усталые, оборванные. Кажется, им не удалось "выйти из себя" и обрести духовность мира. А я углублялась в сочинения древних: Веды, Книга Бытия, Порфирий (21)... Откровенно говоря, понимала я немного. Одно мне стало ясно: существуют такие состояния, когда изменяется само восприятие мира...

Конец лета. Объявление о лекции в Теософском обществе. Тема -- пути познания духовного... Лекцию читает Рудольф Штейнер -- это имя было мне незнакомо. Мы решили послушать, хотя в то время я относилась к теософии несколько свысока, считая ее дилетантским компромиссом между восточной мудростью и западным материализмом. В тот день пришло странное, сумбурное письмо Минцловой. Оказывается, у нас, в Цюрихе, состоится выступление доктора Штейнера, идейного вдохновителя Германской секции Теософского общества... Да это же тот самый, о котором она в Париже упоминала лишь многозначительными намеками! <...>

У кафедры пожилой господин, седая бородка, почтенная наружность -- Штейнер? Я проследила взгляд соседки и увидела, как в залу входит -- стройный, в черном сюртуке. Вороновым крылом слетают пряди на изящную выпуклость лба. Глубоко посаженные глаза... Что поражает более всего? Странное сочетание устойчивости и энергической подвижности... Шаги его упруги и легки, голову держит прямо, шея откинута назад, словно у орла. <...>

О чем же мне спросить? Мое тогдашнее открытие: самое мучительное и неясное - то, что не выходит за пределы чувственного восприятия... Как я понимаю состояние души, когда действительно словно бы "выходишь из себя", чувствуешь, что знаешь больше, чем обычно, -- странное экстатическое состояние. Осенний пейзаж, Египетский зал в Лувре -- оно! И проходит почти бесследно, лишь самое смутное воспоминание остается...

Как же прийти к постижению духовного мира, полностью владея обыденным сознанием, не утрачивая жизненной устойчивости?..

Попытаюсь припомнить ответ Штейнера.

Некоторые мысли и ощущения зависят от нашего местопребывания -- в Москве -- одни, в Париже -- другие. Но существуют мысли и ощущения, независимые от места и времени. Культивируя, возвращая их в своем сознании, мы питаем в себе вечное, укрепляем его, наша зависимость от сугубо физических, материальных потребностей уменьшается. Штейнер посвятил нас в подробности медитации. Именно медитация образует в душе сверхчувственные органы, способные к восприятию объективно реального духовного мира. Штейнер говорил о том, что

мышление должно сделаться активнее, живее -- такому мышлению надо учиться. Надо научить свои чувства освобождаться от всего субъективного, тогда они станут органами духовного восприятия. Надо работать над своей волей, учиться сознательно направлять ее. Далее Штейнер сказал, что в нашу эпоху человек в состоянии постичь реальность духовного мира, не подавляя, но, напротив, укрепляя свое сознание. Постоянное обучение и самоконтроль сделают человека более устойчивыми в обыденной жизни. Штейнер выделил три ступени познания: имажинация -- воображение, инспирация -- вдохновение и интуиция. Мне показалось, что предложенный им путь познания духовной реальности вполне созвучен нашему времени. Лицо Штейнера было совсем близко от меня! Речь его -- горячая, приподнятая -- радостное откровение! Неужели возможен такой человек у нас сейчас, человек, наделенный высшим знанием, истинный провозвестник духовного мира?!

Продолжаю мечтать... Пока никак невозможна для меня связь преподанного Штейнером с моей реальной жизнью. Великая возможность глобальных перемен и мрачная действительность никак не соотносятся в сознании.

Я выхожу замуж за Макса, об этом нужно сказать родителям. Но я боюсь матери, она, разумеется, будет сердиться! Внутренне я все еще завишу от нее и, может быть, именно поэтому часто поступаю наперекор ей в своем безудержном стремлении к самоутверждению. Впечатляют меня слова Минцловой, она внушает мне, что Макс и я созданы друг для друга. Однако странно: я не чувствую себя счастливой. И все же о своем решении сообщаю родителям с такой твердостью, что даже мама не противится. Конечно, помогла мне и Екатерина Алексеевна *, она так любит Макса, так высоко ценит его. В письме отца я ощущаю любовь и доверие. Только три наши горничные -- Маша, Поля и Акулина -- настроены минорно. Мою помолвку они встречают горестными причитаниями. По их мнению, не такой жених нужен мне! Увы, Макс не отвечает их идеалу!

В апреле я уехала в Москву. Макс отправился следом. Я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было чужое, меня самой как будто не было...

Венчание, красота обрядов русского православия (22)... Нет, это не я... Всё -- странный сон...

Тотчас после свадьбы -- в Париж. Скоро там будет Штейнер. Минцлова ехала в одном купе с нами, к вящему недовольству моей тети Александры **, которая терпеть ее не могла и звала "Анной-пророчицей".

* Е. А. Бальмонт.

** Александра Алексеевна Андреева (1853--1926) -- литератор и переводчик.

В Париже мы несколько дней провели в мастерской Макса, затем обставили маленькую солнечную квартиру в Пасси -- несколько кушеток покрыто коврами, множество полок служат вместилищем для библиотеки Макса. Лучшее украшение нашего жилища -- копия -- в натуральную величину -- гигантской, высеченной из песчаника головы египетской царицы Таиах с ее вечной загадочной улыбкой.

Еще до переезда пришла телеграмма: скоро будет Штейнер с друзьями. Он не хотел останавливаться в гостинице, и мы нашли для него квартиру неподалеку от нашей. Прибывшие с ним дамы занялись хозяйством, Минцлова священнодействовала, перетирая посуду...

Штейнер приехал в Париж на очередной Теософский конгресс. <...> Для небольшого круга он прочел в своей квартире на улице Ренуар цикл лекций. Первоначально цикл этот предназначался только для русских слушателей. <...>

В Париже мы застали также Мережковского с Зинаидой Гиппиус и Философовым. Они захотели познакомиться с Штейнером. Вместе с другими русскими слушателями мы пригласили их на улицу Ренуар (23). Но надежды на вечер-праздник не оправдались. Мережковский оказался предубежден против Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на кушетке, надменно лорнировала Учителя как некий курьез. Мережковский допрашивал Штейнера возбужденно и, в буквальном смысле слова, инквизиторски. "Мы бедны, мы наги и жаждем! -- возглашал он. -- Мы томимся по истине!" При этом было совершенно ясно, что вовсе они не томятся, а напротив, убеждены в том, что давно познали эту самую истину. "Откройте нам последнюю тайну!" -- кричал Мережковский, на что Штейнер парировал иронически: "Сначала откройте мне предпоследнюю!" Спутницы Штейнера негодовали. <...>

Личность Штейнера настолько впечатлила нас, что мы решили поселиться в непосредственной близости от него. Будучи корреспондентом "Весов", Макс мог жить в Мюнхене. Намереваясь переехать туда зимой, мы передали нашу парижскую квартиру Бальмонтам и Ньюше. Но прежде надо было побывать в Крыму, где ждала нас моя свекровь. Заботясь о моем слабом здоровье, Макс думал, что путешествие водой не так изнурит меня. Мы поплыли из Линца вниз по Дунаю до Констанцы.

Нам пришло на мысль сделать крюк и заглянуть в Бухарест на большую национальную выставку. Основными экспонатами во всех отделах были чудесные румынские вышивки и портреты королевы Кармен Сильвы (24). Город с его бесчисленными кафе казался причудливым конгломератом Востока и Парижа. Запомнился мне гуляш, посетители сами черпали горячее варево из kloкочущих котелков.

Поздним вечером в Констанце мы узнали, что пароходы не ходят, потому что забастовали моряки русского черноморского флота. Половину ночи мы провели в душном кабачке, здесь кутила команда забастовщиков. Иные лица производили прямо-таки жуткое впечатление, но страшнее всех была сумасшедшая цыганка, бродившая между пьяных. Оказалось, что попасть из Констанцы в Ялту невозможно. Мы поплыли в Константинополь, решив выждать там.

В Бухаресте мы истратили слишком много денег и теперь очутились в довольно затруднительном положении. К счастью, нас приютили в монастырской гостинице для русских, здесь мы прожили несколько дней, ожидая денежного перевода из Парижа...

Разгар лета, мучительная жара. Монастырь помещался в Галате -- самой грязной части города, улицы здесь очищают лишь голодные собаки. Макс не может заснуть -- астма, ночи мы проводим на гостиничной кровле. В первую нашу ночь -- с пятницы на субботу -- окрестности оглашало пение мусульман. С субботы на воскресенье неопишумый галдеж учинили евреи. И наконец, кульминацией явились вопли христиан-левантийцев -- с воскресенья на понедельник! Четвертая ночь прошла в роскошном дипломатическом отеле. Публика здесь отличалась особой элегантностью; а у меня пальцы унижены кольцами, черная кружевная шаль, зеленая шелковая лента шляпки в стиле "либерти" завязана под подбородком. Изумленный портье берет наши паспорта: "Месье -- парижанин, а мадемуазель, должно быть, из Константинополя?"

И все же я благодарна судьбе за то, что мы, хотя и помимо своей воли, попали в этот город. Роскошь царственной Византии, баюкающая прелесть Востока: плеск фонтанов, тихо жужжащие пчелиные ульи мечетей, надменность турок, необузданная алчность и лукавство христиан-левантийцев -- все это осталось в памяти. И вот утренняя заря отплытия, после ночи, проведенной на палубе, -- отдаленное великолепие мечетей и минаретов блистательного города... Следующая ночь прошла в трюме -- из экономии мы плыли третьим классом... Капитан не пускает меня на палубу: татары, турки, многодетные евреи страдают от морской болезни... Волнуется море. <...>

Слава Коктебельского залива -- прозрачные камешки вулканического происхождения, отшлифованные морем, они переливаются всеми оттенками розового и лилового. <...> Берег почти не заселен. Наши два домика окружены зарослями чахлах акаций. Неподалеку живет Поликсена Сергеевна Соловьева с подругой (25). Престарелая мать тогда уже умершего Владимира Соловьева живет у нас. Часто она сидит на своем балкончике, погруженная в молитву. Большие голубовато-серые, опущенные черными ресницами, глаза поэтессы Поликсены похожи на глаза брата, и смеется она так же -- звонко, от души. "Соловьевский смех" знаменит. А вообще Поликсена смахивает на негретенку -- коротко стриженные волосы, шальвары. Моя свекровь тоже в шальварах: Коктебельское побережье изобилует колючей растительностью.

Она большая оригиналка, моя свекровь. Внешне -- вылитый тишбейновский * "Гёте в Италии" -- высокие сапоги, мужской костюм. Такой она являлась не только в деревне, но и в городе. Ее, красавицу, отличала странная застенчивость. В коктебельской бухте, на Восточном побережье Крыма, она поселилась первая. Сначала выстроила дом для себя, затем другой -- для Макса. <...> Отношения их были необычные. Мать страстно любила сына, и в то же время что-то в нем постоянно раздражало ее. Рядом с этой женщиной Макс приходилось нелегко (26). Ко мне она прониклась искренней симпатией прочно и надолго...

* [Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм \(1751--1823\) -- немецкий художник.](#)

В Коктебеле Макс напоминает ассирийского жреца -- длинная, ниже колен, рубаха, Зевсова голова увенчана полынным венком. Курортная публика,

приезжающая из Феодосии -- собирать разноцветные камешки, не желает смиряться со всеми этими экстравагантностями...

Феодосия -- красивый старый город, город развитых культурных и художественных традиций... Из друзей Макса особенно помню художника Богаевского (27) -- тихий серьезный человек большой душевной чистоты. Странствия по феодосийским окрестностям -- для него род крестного пути. Весь он -- в постоянном поиске, духовность пейзажа -- вот что волнует его. И живопись его космична и священнодейственна. <...>

Интеллигенции обеих российских столиц -- писателям, художникам, философам и музыкантам -- была известна и другая живая феодосийская достопримечательность -- наш с Максом друг -- Александра Михайловна Петрова (28).

Через двор, мимо гигантской белой акации, по наружной лестнице -- прямо в ее единственную скромно обставленную комнату. Рояль, узкий диван, стол и несколько стульев, -- но каким безмерным уютом пронизано все! А приготовление кофе, изумительно вкусного кофе, -- почти религиозная церемония, в тайны которой она посвятила и меня!.. А то редкостное горячее участие, с каким Александра Михайловна следила за всеми событиями культурной жизни! Не могу забыть ее огненно-черных глаз, голоса, хриповатого от непрерывного курения, ее быстрого нервного смеха... Всеми силами своей души она переживала и стремилась постичь всякую идею, всякое явление жизни... Болезнь сердца отрезала ей пути к непосредственной активной деятельности, но в скольких судьбах приняла она участие, как чутко откликалась на события современности! <...>

Осенью мы отправились в Москву к моим родителям, затем собирались поселиться в Мюнхене. Но судьба распорядилась иначе. Макс поехал в Петербург для переговоров со своим издателем. В Петербурге произошло сближение с кругом поэтов, художников, философов, чей духовный уровень казался ему равным уровню аристократической интеллигенции древней Александрии. Душой этого круга был Вячеслав Иванов (29). Высоко над Таврическим садом возносилась угловая башня большого дома, здесь в полукруглой мансарде происходили собрания петербургских "александрийцев". Макс написал мне, что ниже этажом есть две свободные маленькие комнаты для нас, со временем мы сможем занять и прилегающую большую. Он спрашивал, не провести ли нам зиму в Петербурге, здесь он сможет писать свои заказные статьи по вопросам искусства...

Вячеслав Иванов!.. Его стихи уже давно виделись мне духовной родиной! Почти все я знала на память. Как часто их воспринимали с трудом или отвергали! Непривычность античной ритмики, архаизированное религиозное и в то же время философское содержание... С каким восхищением читала я его книгу "Религия страдающего бога" (30), где он -- ученый, религиозный философ, поэт -- анализировал особенности дионисийского культа в Древней Греции... Мировоззрение Вячеслава Иванова объединяло античную одухотворенность реальной действительности с возвышенной духовностью христианства. Я считала его даже выше Ницше, хотя "Рождение трагедии из духа музыки" оказало на меня чрезвычайно сильное влияние.

Я знала, что Иванов много лет прожил с семьей в Женеве... Значит, теперь он в Петербурге, я смогу познакомиться с ним, даже жить в одном доме -- дух захватывает!.. Телеграф -- и мое восторженное "Да"!..

А как же Мюнхен? Познание духовной реальности?.. Пока с меня было довольно и того, что все это существует. Пленительны и полны мощи образы мировой эволюции, все в мире имеет смысл, есть путь к познанию духовности, возможно, я когда-нибудь вступлю на этот путь. Едва ли не с самого детства я искала его, а теперь почему-то успокоилась, решила, что у меня в будущем достаточно времени... Мы с Максом шли по жизни, держась за руки, как дети...

Об интимном говорить неприятно, но я не могу миновать последующий период. Все, что произошло, все мои переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, характерными для той "люциферической" культуры, что, по моему мнению, достигла в России наивысшего расцвета... Косный самодержавный бюрократизм закрывал пути к малейшим переменам для всех, кроме революционеров... Оторванные от практической деятельности, погруженные в свой внутренний, отделенный от реальной жизни мир, что неминуемо вело к переоценке собственной личности, российские интеллигенты пускались в разного рода чудачества, красочные и характерные.

Такой была и я. Не признаваясь самой себе, я в глубине души была уверена в том, что я выше простой практической жизни, ведь я так беспомощна, почти смешна в ней. Беззащитна я и перед хаотическим миром собственных чувств, у меня не хватает силы воли, я не умею сдерживать себя. Гипертрофированные душевные переживания дурно влияют на мое здоровье. Макс, добрый и самоотверженный, ничему не может меня научить в этом смысле, находит мою слабость трогательной и милой, нежно заботится обо мне. Но я страдаю от собственной слабости, кажусь себе какой-то блуждающей тенью...

Петербург встретил нас ветренным ноябрьским утром (31), морская поземка вилась над заледенелой Невой... Две крошечные комнатки ждали. Что касается третьей, большой, то мы так никогда и не поселились в ней... Мое пристанище напоминает узкий коридор, здесь умещаются лишь кушетка и обеденный столик. Комната Макса -каюта с диваном и широким подоконником вместо письменного стола... Серое петербургское небо заполняет огромные окна... Но что теснота! -- ведь прямо над нами -- божественное пиршество ума и таланта!...

Первыми нашими гостями были молодой поэт Дике (по-настоящему он звался Борисом Леманом *) и его кузина Ольга Анненкова **, блондинка, похожая одновременно и на хрупкого мальчика-подростка, и на какую-то странную птичку. Странной воспринималась и внешность Бориса -- чрезвычайно узкая темноволосая голова, оливково-смуглое лицо, гортанные интонации голоса -- причудливое соединение Древнего Египта с самым современным модернизмом, и в то же время - - что-то таинственное... Он числился в каком-то министерстве, где, разумеется, ничего не делал. Экзальтированные почитатели Макса, Ольга и Борис тотчас принялись дуэтом декламировать его "Stella Maria" ***(32). Получилась какая-то заупокойная молитва, я засмеялась...

* Леман Борис Алексеевич (1880--1945)

** Анненкова Ольга Николаевна -- филолог, переводчица.

*** Звезда Мария (лат.).

На следующий день -- театр-студия Комиссаржевском Артисты разучивали хоры из греческой драмы Иванова "Тантал", они хотели поразить его своей декламацией. Я никогда не слышала ничего подобного и была захвачена мощью этого художественного чтения... Вячеслава Иванова я увидела в перерыве. Кажется, он был тронут, благодарил артистов и Комиссаржевскую. А мне вспомнился давний мой сон: пригнувшись, через узкую дверцу входит некто, кого я называю "злым жрецом". Иванов так походил на него, что я испугалась. Неужели это и есть поэт, мир стихов которого сделался и моим миром?!

Тогда ему было чуть больше сорока. Стройная высокорослость, волосы, легкие и светло-рыжие, обрамляют красивый лоб -- "словно орифламма", -- подумалось мне. Остроконечная бородка, теплые тона почти прозрачного лица, небольшие серые глаза хищной птицы. Его улыбка показалась мне слишком тонкой, а высокий -- чуть в нос -- голос -- слишком женственным. Всякий выговариваемый слог сопровождался вздохом, и от этого речь звучала странно торжественно.

Скорей, скорей бы проснуться, уйти от этого сна, узнать истинного Вячеслава Иванова, того, из стихов! Но, увы, то был не сон!..

Лидию Зиновьеву-Аннибал (33), жену Иванова, мне описали как "мощную женщину с громовым голосом, такая любого Диониса швырнет себе под ноги". Лицом она походила на Сивиллу Микеланджело -- львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда; маленькие аккуратные уши парадоксально увеличивали это впечатление львиного облика. Но оригинальнее всего гляделась ее, что называется, "цветовая гамма": странно розовый отлив белокурых волос, яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи. Она была одним из потомков знаменитого абиссинца Ганнибала, пушкинского "арапа Петра Великого". Одеждой Лидии служила античная туника, красивые руки задрапированы покрывалом. Смелость сочетания красок в тот вечер -- белое и оранжевое...

Макс целиком подпал под обаяние Иванова и был огорчен моим легким разочарованием...

Вскоре после нашего приезда мы отправились в гости к Ремизовым. Алексей Михайлович тогда начинал писать стихи -- яркие, красочные, в русском народном стиле... Впервые в русской литературе в его полуязыческих -полухристианских апокрифах явились многочисленные стихийные духи, коими так богат российский фольклор. В то время я тоже искала свой национальный русский стиль, и произведения Ремизова стали для меня откровением.

Каков Алексей Михайлович? Зябкие плечи -- голова меж ними словно птенец из гнезда -- вязаный продранный платок. Близорукие глаза испуганно распахнуты. Добродушно-смешливая улыбка. На лице выдается шишковатый нос Сократа, а лоб как у китайских философов -- торчком волосяные пучки... Я спросила его, как выглядит кикимора? И -- поучительный ответ: "В точности как я". <...>

Тогда, в 1906--1907 годах, на петербургском литературном небосклоне Ремизов считался восходящей звездой. Часто выступал он с чтениями в "Башне" Иванова, читал музыкально, очень ритмически. Его стихи много теряют в своем очаровании без восприятия на слух...

Ремизовы приняли нас очень тепло, напоили чаем, стали показывать свои "драгоценности". В основном это были причудливые фигурки из древесных корешков и сучков, созданные природой или сделанные специально, они висели над письменным столом хозяина. Видимо, они стимулировали его вдохновение. Показывал он их очень серьезно, для каждого находя имя, измышляя характер и повадки. <...>

Побывали мы с Максом и у художника Сомова, знакомого нам еще по Парижу. Простое убранство его комнаты, одновременно служившей и мастерской, отличалось тонким вкусом. Голубые обои, старинная, красного дерева мебель, хрустальная люстра в стиле бидермейер. На комодике -- фарфоровый Дионис, белый, с гроздью синего винограда, окруженный яркой зеленой листвой. Скромный, как-то щемяще-задушевно-покорный, художник любил старину, взгляд его был обращен в прошлое, на возможность истинной культуры в будущем он не надеялся. Поздним вечером пришел поэт Кузмин, он и Сомов были просто счастливы друг другом...

О Кузмине... Откуда, из какой глубинной древности этот удивительный человек? Необычна уже его внешность: на маленьком хрупком теле -- голова фаюмского портрета -- черные миндалевидные глаза; аскетическая темная борода -- это уже облик русской иконописи. Но он вовсе не святой и не хочет казаться таковым. Наоборот, с удивительной откровенностью и невинностью он читает друзьям свои дневники, ничего не убирая, не стремясь изобразить иначе, чем было в жизни. <...>

Свои утонченные стихи Кузмин сам клал на музыку, пел их, аккомпанируя себе на рояле. Его "Александрийские песни" восхищали меня. И весь он казался таким естественным, детски-безыскусным. Как причудливо перемешались в этой личности российское православие, александрийская Греция и фривольный XVIII век, столь хорошо ведомый и Сомову...

В ту морозную ночь, возвращаясь домой, мы с Максом говорили о том, что среди этих чрезмерно утонченных людей мы с ним выглядим какими-то варварами: они смотрят в прошлое, мы ищем будущее...

На следующий день -- неожиданный приход Иванова, я сидела одна в комнатке-каюте" Макса. Разговор зашел о вечере в студии Комиссаржевской -- я рассказала ему, как много значили для меня его стихи. Я почти на память знала сборник "Кормчие звезды", а сборник "Дриады" был моим любимым, в нем так верно передавалась космическая сновидческая жизнь деревьев. Иванов так и впился в мое лицо широко раскрытыми маленькими глазами. Помолчал некоторое время. Затем в волнении произнес: "Мои стихи очень серьезны... трудны... Они встретят мало понимания... Я поражен..."

Он пригласил нас на ближайшую среду в "Башню" -- философ Бердяев будет говорить об Эросе, затем -- общая беседа. И, как обычно, поэты прочтут свои новые стихи А сейчас он хочет проводить меня наверх, к Лидии.

Уже год, как Ивановы обосновались в Петербурге. <...> Квартира помещалась в башне, стены во всех комнатах были округлые или скошенные. Комната Лидии оклеена ярко-оранжевыми обоями. Два низких дивана, странный пестро окрашенный деревянный сосуд -- здесь она хранила свои рукописи, свернутые свитками. Комната Вячеслава -- узка, огненно-красна, в нее вступаешь как в жерло раскаленной печи... Устройство их быта вполне необычайно. Все женщины нашего круга держат хотя бы кухарку. Лидия делает все сама, а ведь она занимается литературным трудом и ежедневно принимает множество гостей. Она не может потерпеть в своем жилище человека стороннего, не разделяющего полностью их жизни...

Я чувствую себя зайчиком в львином логове. Оригинальность и сила переживаний Лидии удивительны, она ни в чем не уступает мужу. Необычен ее интерес ко мне. Впрочем, они оба интересовались новыми лицами. "Вячеслав и я -- мы любим видеть сны в лицах людей". Может быть, и в моем лице они видят какой-то привлекательный для них сон?.. А вдруг, проснувшись, они разочаруются?

"Башня" была центром духовной жизни Петербурга. Иванов, казалось, заражал других своим вдохновением. Одному подкажет тему, другого похвалит, третьего порицает, порой чрезмерно; в каждом пробуждает дремлющие силы, ведет за собой, как Дионис -- своих жрецов. Вдохновляет он людей не только в творчестве, но и в жизни. В его огненную пещеру идут с исповедью и за советом. Необычен распорядок его дня: встает он в два часа пополудни, а гостей принимает вечером и по ночам. И работает он ночью. Но в ту зиму работалось ему немного. <...>

Наконец-то -- среда. Большая полукруглая комната днем освещается лишь одним окошком, сейчас здесь горят свечи в золотом канделябре, озаряя маленькие золотые лилии на обоях и золотые волосы хозяина. Мужчин в этом обществе больше, чем женщин -- из последних выделяется одна лишь Лидия. Среди гостей -- Сомов, Кузмин, Бакст (34), молодой Городецкий, затем явились Ремизовы, Борис Леман с кузиной, писатель Чулков, провозвестник "мистического анархизма" (35); студент Гофман, автор книги "Соборный индивидуализм"(36) ; еще несколько литераторов и театральных деятелей. С Бердяевым я встретила впервые, позднее мы много общались в Москве. Он был высок и широкоплеч, черноволос, красив. Ясно проступало романское происхождение -- через мать -- француженку. Меня испугали нервные подергивания его лица, внезапно приоткрывался рот и высовывался язык. Но это не мешало ни ему, ни окружающим.

Теперь я уже не помню его выступления, не помню, что говорили остальные. Осталось в памяти лишь ощущение новизны и глубины, мой восторг не знал границ...

На большом столе у дверей поместились Лидия, Сомов и Городецкий, они представляли "галерку". Когда, по их мнению, выступающий слишком погружался в абстракции, они кидали в него апельсинами. Городецкий, высокий и худой,

птичьим ликом походил на египетского бога Анубиса. Привлекали его юмор, молодая свежесть и непосредственность. Тогда он еще только начинал свою поэтическую карьеру под крылом Вячеслава Иванова.

Вторая часть вечера целиком отдана поэзии. Вячеслав прочел "Вызывание Вакха" -- из своей новой книжки "Эрос", языческое божество представлялось ему полуиношей-полуптицей... Читал он и другие стихи, на меня они оказывали магическое действие... Городецкий выступил с оригинальными по ритму стилизациями... Ремизов читал "Медвежью колыбельную", Кузмин -- изящный цикл "Любовь этого лета". Рядом со всем этим разнообразием стихи Макса воспринимались слишком сделанными, в них ощущалось мало лиризма, они были риторичны, сказывалось французское влияние.

Гости разошлись по комнатам. Вячеслав Иванов подошел ко мне, мы обменялись впечатлениями. Мои простодушные слова странно волновали его. Он сказал, что встреча со мной вознаградила его за многое. Я не поняла...

Лидия работала тогда над книгой "Трагический зверинец" (37). Это был сборник небольших рассказов о детстве, объединенных общей темой встречи с каким-либо животным. Я тоже написала рассказ для детского журнала, издававшегося Поликсеной Соловьевой. Лидия ставила мою манеру выше своей, находила более выразительной и богатой оттенками. Мне же, напротив, импонировал ее тяжеловесный, изобилующий вводными фразами, но необычайно динамичный стиль...

Макс, увлеченный Петербургом, целиком погрузился в свою журналистскую деятельность. Я часто оставалась втроем с Ивановыми. Они охотно рассказывали о себе. <...> Для обоих этот брак был вторым. Он оставил дочь и жену, любившую его. Говорилось о жизни в Петербурге, о разнообразных встречах. <...>

Вячеслав устраивал мужские вечера, Лидия мечтала о замкнутом кружке женщин, где каждая душа раскрывалась бы свободно. Была приглашена и я. Мы должны были называть друг друга иными именами, носить особые одежды, создавая атмосферу, приподнимающую над повседневностью. Лидия называла себя Диотимой, мне дали имя Примаверы (предполагалось, что я напоминаю боттичеллиевских героинь). Приглашены были также простодушная жена Чулкова и какая-то учительница народной школы, ничего не понимавшая, она вела себя почти непристойно. Других желающих не нашлось. Вечер прошел скучно, никакой духовной общности не возникло. Лидия отказалась от подобных опытов. <...>

Врачи не могли определить, в чем причина моего упадка сил. Макс повез меня на несколько недель в Финляндию. В двух часах езды от Петербурга расположился пансион. Вокруг -- засыпанные снегом леса, озера... Вскоре Макс возвратился в город... <...> Удивительная раковина -- его подарок -- зеленоватая глубина отсвечивает розовым и голубым... Я пытаюсь рисовать это, но мои краски выходят так бледны и невыразительны!.. Грустно... Ежедневно Макс пишет мне... Ивановы собираются в Женеву, там Лидия будет поправляться после воспаления легких, они предлагают нам свою квартиру в башне. Сейчас Лидия больна воспалением вен и должна лежать...

Я скучаю по Максy, а узнав о предстоящем отъезде Ивановых, решительно срываюсь с места и несусь в Петербург (38). Должно быть, Макс ужинает... В радостном нетерпении вбегаю в квартиру -- темно и пусто. Оставляю записку и поднимаюсь к Ивановым. Они как раз за столом. Встреча! <...> Вячеслав шутит, дразнит меня. Лидия, едва не переступившая порог смерти, серьезна. Незаметно летят часы... Я прислушиваюсь -- где же Макс? Наконец -- звонок. Вячеслав пошел открывать дверь, я побежала следом... Макс!.. Бросаюсь навстречу, Вячеслав преграждает дорогу. Я -- вправо, влево, он все время оказывается между нами. Мы смеемся. Но так ли безобидна эта шутка? Позднее я поняла...

Мы живем в одной квартире с Ивановыми -- это необыкновенно увлекательно для всех нас. Ивановы теперь и не помышляют об отъезде. Из Коктебеля приехала мать Макса, она -- пятый член нашего содружества. Вячеслав приводит ее в восторг, совершенно юношеский. Большинство знакомых полагает, что Ивановы в Женеве, только ближайшие друзья посещают башню, мы ведем странно уединенную жизнь.

Помню, как Блок читал у нас свой "Кубок метелей" (39)... Профиль средневекового рыцаря, мраморный лик, светлые глаза устремлены вдаль и, словно бы издали, -- звучит голос. Читает несколько монотонно, но чувствуется сдерживаемая страстность. Кажется, этот рыцарь заблудился в нашей эпохе, где невозможно встретить божественный женский образ, воспеваемый им в разнообразнейших ритмах. В стихах слышалось отчаяние почти циническое...

Томление, отчаяние -- это было характерно для нашего времени. Люди мечтали о несбыточном, Люцифер завлекал их в сети Эроса. Жизнь была пронизана драматизмом. Особенно жизнь художников. Дружные супружеские пары встречались редко, их даже несколько презирали...

Один из художественных журналов заказал мне портреты Ремизова и Кузмина. Я работала углем. Ремизов кутается в платок на фоне своих древесных фигурок -- натуралистический гротеск; Кузмина я стилизовала под фаумский портрет. Рисунки в натуральную величину вполне удались, но Иванов так носился с ними, говорил такие громкие слова, что мне сделалось неловко. Я почти насилу отняла у него один рисунок и побежала к себе. Вячеслав догнал меня, схватил за руку и в волнении умолял: "Пожалуйста, прошу, не оставляйте меня!" Что это? Я рассказала Максy, он также был удивлен.

Вячеслав старался образовать меня. Мы прочли "Цветочки" Франциска Ассизского (40) по-итальянски. Глубокое впечатление произвел на меня рассказ о встрече Франциска и Клары в церкви святого Ангела за трапезой, где "ели меньше, чем беседовали о святых предметах". От этой беседы разлился такой свет, что крестьяне Перуджии приняли его за зарево лесного пожара и прибежали тушить. Вот он -- мой идеал истинной любви, когда даже обращенные друг к другу слова любящих порождают высокую духовность, коренящуюся, однако, в объективной реальности. <...>

Иванов заинтересовался моими стихотворными опытами, одобрил их, это внушило мне желание писать новые стихи, прежние я не особенно ценила. Сонет об осени (41) он заставлял меня часто читать на поэтических вечерах, причем я с трудом одолевала привычную застенчивость. Я целиком оказалась во власти этого

человека, подчиняясь малейшему его взгляду. Для Макса, Лидии и меня он разработал целый курс поэтики. Позднее возник его поэтический семинар. Иванов объединял в себе поэта и ученого. Познания его в сфере греческих мистерий и культов были чрезвычайно обширны и служили ему опорой для истолкования стихотворных размеров и ритмов. В совершенстве владея древними и новыми языками, он приводил примеры на языке оригинала. Эти занятия принесли пользу не только мне, но и Макс, обогатив его стихотворную палитру. <...>

Однажды вечером Вячеслав обратился ко мне: "Сегодня я спросил Макса, как он относится к растущей между мной и тобой близости, и он ответил, что это глубоко радует его". Я поняла, что Макс сказал правду, он любил и чтит Вячеслава. Но постепенно я заметила, что сам Вячеслав дурно относится к моей близости с Максом. Он все резче критиковал Макса. Зачастую я бывала вынуждена соглашаться: действительно, Макс чрезмерно увлекался парадоксальной игрой мысли. Но душа ныла. Когда я пыталась защищать Макса, Вячеслав утверждал, что Макс и я -- существа разной духовной природы, что брак между нами, "иноверцами", недействителен. В глубине души у меня самой назревало такое чувство, Вячеслав лишь облекал его в слова.

Доклад Макса об Эросе (42) имел шумный скандальный успех, эпатировал буржуазные вкусы, но я поняла, что больше не могу о себе и Максе говорить "мы". Мне было нелегко сознавать это, но счастливое чувство дружбы и единения с Лидией и Вячеславом уравнивало нарастающую отчужденность от Макса.

Скоро я поняла, что Вячеслав любит меня. Я рассказала Лидии об этом и о своем решении уехать. Но для нее все уже давно стало ясным... Ответ Лидии: "Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется -- мертвое... Мы оба не можем без тебя". После мы говорили втроем. Они высказали странную идею: двое, слитые воедино, как они, в состоянии любить третьего. Подобная любовь есть начало новой человеческой общины, даже начало новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь. Естественный мой вопрос был о Максе.

-- Нет, только не он.

-- Но я не могу оставить его.

-- Ты должна выбрать, -- сказала Лидия. -- Ты любишь Вячеслава.

Да, люблю, но эта любовь не такова, чтобы исключать из нее Макса! Рядом с этими двумя исполинами я беспомощна, как дитя. Я так боюсь вызвать их неудовольствие. Я уже не могу испытывать прежнее безмятежное счастье. Не может и Макс...

Я поделилась с Минцловой. Та расхохоталась: "Они полагают, что из кратера вулкана брызнет чистая водичка!" И тотчас в стиле античной пророчицы заговорила о сужденном мне "огне земном". А я думала о пламени духа, озарявшем леса Перуджии. Неужели предать свой идеал?..

Мать Макса принимала горячее участие в нашей жизни, но весной у нее сделался приступ меланхолии. Подобные депрессивные состояния бывали у нее время от времени. Но, может быть, сейчас это было предчувствие беды?.. Она решила вернуться в Коктебель, близилось лето, и ее присутствие в доме становилось

необходимым. Макс не захотел отпускать ее одну, они уехали вместе (43). Фанатик свободы! -- возможно, он предоставлял мне право решать самой? Но я не чувствовала себя свободной...

Вячеслав требовал от меня послушания, пресекал малейшие сомнения в правильности его идей. А Лидия? Возможно, она вовсе не верила в союз трех, просто видела в этом единственный способ удержать мужа. Конечно, и она страдала. Помню ее слова: "Когда тебя нет, во мне подымается какой-то внутренний протест против тебя. Но когда мы вместе, мне хорошо, я покойна..." <...>

Макс прислал Вячеславу новый цикл стихов -- "Киммерийские сумерки". Стихи показались мне очень хороши, написаны они были в античных размерах, некогда разъясненных нам Ивановым. Но он отозвался о стихах Макса с большой резкостью. Я недоумевала: почему нет писем? Может быть, Макс хочет предоставить мне полную свободу? Но мы ведь скоро встретимся! Позднее я узнала, что все его письма, посланные мне в Петербург, переадресовывались в Берлин на какой-то незнакомый адрес. Письма были трогательны, он звал меня приехать, он страдал, но все они возвращались к нему из Берлина. Что это было? Ошибка? Непостижимая небрежность? Или чья-то сознательная злая воля разлучала нас? Конечно, я поехала бы к Максиму! Но, ни о чем не подозревая, я отправилась в Москву, предварительно договорившись, что Ивановы приедут в имение моих родителей.

И вот я, ночная путница, снова в добропорядочной родной семье. Я чувствовала, себя обязанной объяснить матери все обстоятельства своей семейной жизни: я больше не расстанусь с Ивановыми, Вячеслав любит меня, Макс и Лидия согласны. Мать была в ужасе, нет, никогда -- "только через мой труп"!.. Я написала Ивановым. Теперь и речи не могло быть об их приезде в Богдановщину. Вскоре пришел ответ: они снимут дом в сельской местности в одной из западных губерний (44) и будут ждать меня там...

Все складывалось отвратительно! Я решила отправиться в Коктебель к Максиму, но по пути, не уведомляя маму, заехать к Ивановым, на это нужно было приблизительно два лишних дня.

В просторных солнечных комнатах деревенского дома, оваянного свежими запахами полей, мои друзья показались мне гораздо моложе, чем в башне. Они поздоровели, окрепли. <...> Так отрадна показалась мне отеческая нежность Вячеслава! День пролетел, как блаженный сон, хотя Вера *, старшая дочь Лидии от первого брака, и ее воспитательница отнесли ко мне явно недоброжелательно. Восемнадцатилетняя белокурая красавица, Вера явно заменила меня в прежнем "тройственном союзе". Лидия стала более сдержанной. <...> Они пообещали приехать в Коктебель. Однако не приезжали и не отвечали на письма.

* [Вера Константиновна Шварсалон \(1890--1920\)](#).

Я заранее известила Макса, что заеду к Ивановым. Теперь, в Коктебеле (45), он окружил меня трогательным вниманием. Белые оштукатуренные стены дома были

увиты гирляндами полыни: ведь в Коктебеле не растут цветы. Мы вместе бродили по любимым им окрестностям. Как суровы и величавы они, только теперь я поняла это. Но прогулки наши печальны, между нами -- призрак, держащий меня в плену.

Скоро в Коктебель приехали новые гости, в их числе -- Минцлова. А в конце лета (46) пришла ее телеграмма от Вячеслава: "С Лидией сочетался браком через ее смерть". Она умерла в три дня от скарлатины. Первый мой порыв -- туда -- к нему! Но Минцлова воспротивилась и поехала одна. Я безгранично доверяла ей, с нетерпением ждала телеграммы, письма, но так и не получила от нее никаких известий. Позднее я узнала, что она обещала моей матери помешать моему возвращению к Ивановым. Кроме того, ей хотелось самой выступить в роли утешительницы.

Нюша перенесла воспаление легких, теперь ей нужен был юг. Зиму мы провели в Риме. Макс жил в Петербурге один. Я получала от него полные заботой обо мне письма. Он больше не встречался с Вячеславом. <...>

Я была в Гамбурге. По пути в Париж Макс заехал повидаться со мной (47). Он прослушал несколько лекций Штейнера. После одной из них задал вопрос, в то время занимавший его в качестве парадокса: "Не является ли Иуда, взявший на себя грех предательства, благодаря чему стала истинно возможна Христова жертва, -- подлинным спасителем мира?" (48) Штейнер решительно отверг эту идею, сочтя ее нездоровой. По его мнению, Иуда не понял Христа, ожидая, что Христос с помощью магии победит своих врагов. Иуда желал для Христа земного, а не небесного триумфа. <...>

В Норвегии я обрела наконец душевное равновесие. Но известия из Москвы нарушили его. Вячеслав с детьми и Минцловой собирался провести лето в Крыму, недалеко от Коктебеля. В Москве моя мать пригласила его побеседовать, она потребовала, чтобы он пообещал отказаться от встреч со мной. Разумеется, он не дал подобного обещания. Мать звала меня в Москву, чтобы я в последний раз увиделась с Вячеславом.

Зачем же она вмешивается в мою жизнь? Зачем говорит обо мне с Вячеславом, ведь он еще не оправился после смерти Лидии! Я была оскорблена. Макс писал, что я должна встретиться с Вячеславом, это внесет ясность в наши отношения. Добрый, трогательно заботливый Макс! "Ты всегда можешь приехать в Коктебель. Если тебе будет лучше без меня, я уеду на время". Но приехать я уже не могла. <...>

По возвращении в Петербург я не узнала Вячеслава. Он был в чьей-то чуждой власти. Я отошла. <...>

Вскоре он женился на своей падчерице Вере... <...>

<...> Макс приехал в Дорнах. По пути из России он всюду попадал на последние поезда. "Все двери захлопывались за мной, я, словно последний зверек, спасшийся в Ноев ковчег". <...>

Между тем Штейнеру нужен был занавес (49), отделяющий зрительный зал от сцены. Штейнер сам выполнил эскиз: в центре -- река, на правом берегу -- пилигрим, напоминающий брата Марка из гётевских "Тайн" (50). Позади --

теряется в лесах множество исхоженных им путей. На левом берегу, вдали, -- здание штейнеровского Храма с его двумя куполами. Над ним -- в облаках -- видение увитого розами креста. Со стороны здания плывет навстречу путнику полускрытая скалой лодка.

Эту работу взялась выполнять дама, не обладавшая дарованием художницы (51), ее способности разворачивались скорее в сфере мистицизма. Макс -- бедный Макс! - - предназначался ей в помощники! Она предпочитала голубовато-розовую тональность. Он же -- точно передавал очертания крымских горных формаций и преломление света в облачном небе. Работать они должны были в маленьком -- с электрическим светом -- помещении. Макс совсем загрустил. Эти люди, живущие догматами, отгороженные от жизни схематическими представлениями, высокомерно отвергали все, в какой-то мере противоречившее им (52) Макс стремился в свой любимый Париж. Как могла я винить его за это! Да и деньги из России доходили с трудом, а в Париже он мог зарабатывать журналистикой... Мы и не предполагали, что больше уже не встретимся...

От антропософии Макс брал то, что ему было близко само по себе. Упражнения, составляющие антропософскую практику, он выполнял в практике самой жизни. Макс умел подойти к человеку, не стесняя его свободы, не осуждая. <...> Во время войны его призвали в армию. Он ехал в Россию с твердым решением отказаться: "Пусть лучше убьют меня, чем убью я"... Но его спасла астма, из-за которой он был признан непригодным к военной службе (53)...

Примечания

Маргарита Васильевна Сабашникова (1882--1973) -- художница и поэтесса. Воспоминания ее изданы на немецком языке: M. Woloshin. Die grüne Schlange "Зеленая змея" (нем.). . Stuttgart, 1955. (Были переиздания.) Перевод с немецкого Фаины Гримберг.

1 Щукин Сергей Иванович (1854--1936) -- коллекционер картин. Знакомство Волошина и М. В. Сабашниковой произошло 11 февраля 1903 года.

2 Первые переводы из Э. Верхарна были опубликованы Волошиным только в 1905 году ("Казнь" и "Человечество") в петербургской газете "Русь" (1905. 14 августа).

3 Родители Сабашниковой: Василий Михайлович Сабашников (1848--1923) -- чаеоторговец, выборный московского купеческого сословия, и Маргарита Алексеевна (урожд. Андреева, 1860--1933).

4 Сабашникова приехала в Париж в середине марта 1904 года.

5 "Шляпка с васильками" упоминается в стихотворении Волошина "Письмо" (май 1904 года).

6 По-видимому, Сабашникова была вместе с Волошиным на "бетховенском концерте" А. Дункан. Описание этого вечера Волошин дал в статьях "Айседора

Дункан" (Русь. 1904. N 144. 7 мая) и "Письмо из Парижа" (журнал "Весы". М., 1904. N 5).

7 М. В. Сабашникова выехала из Парижа 8 (21) июня 1904 года.

8 Кавур Камилло Бенсо (1810--1861) -- итальянский государственный деятель, борец за объединение Италии. Гервег Георг (1817--1875) -- немецкий поэт и революционер.

9 Одилон Редон (1840--1916) -- французский художник-символист. Волошин посвятил ему стихотворение "Я шел сквозь ночь. И бледной смерти пламя..." (1904) и статью "Одилон Редон" (Весы. 1904, N 4).

10 В стихотворении "Письмо" Волошин описывает этот рисунок:

Рисунок грубый, неискусный...

Вот Дьявол -- кроткий, странный, грустный.

Антоний видит бег планет:

"Но где же цель?"

-- Здесь цели нет...

Струится мрак и шепчет что-то,

Легло молчанье, как кольцо,

Мерцает бледное лицо

Средь ядовитого болота,

И солнце, черное как ночь,

Вбирая свет, уходит прочь.

11 Имеется в виду "предсказание Казота", о чем рассказывается в "Отрывке, найденном в бумагах г-на де Лагарпа". Жак Казот (1719--1792) и Жан Франсуа де Лагарп (1739-- 1803) -- французские писатели. Первый из них увлекался оккультизмом, второй стал в конце жизни убежденным католиком. "Предсказание Казота" приведено Волошиным в его статье "Пророки и мстители" (Перевал. М., 1906. N 2).

12 Чуйко Михаил Самойлович (ок. 1875--1947) -- художник и актер. Его портрет работы Сабашниковой был на выставке "Мира искусства" (репродукция -- в журнале "Золотое руно". М., 1906. N 5. С. 16).

13 Минцлова Анна Рудольфовна (ок. 1860--1910) -- переводчица, теософка. Имела большое влияние на Волошина. Ей он посвятил цикл сонетов "Руанский собор" (1907) и запечатлел в стихотворении "Безумья и огня венец..." (1911):

Безумья и огня венец

Над ней горел.

И пламень муки,

И ясновидящие руки,

И глаз невидящий свинец,
 Лицо готической сивиллы,
 И строгость щек, и тяжесть век.
 Шагов ее неровный бег --
 Все было полно вещей силы.
 Ее несвязные слова,
 Ночным мерцающие светом,
 Звучали зовом и ответом.
 Таинственная синева
 Ее отметила среди живших...
 ...И к ней бежал с надеждой я
 От снов дремучих бытия,
 Меня отвсюду обступивших.

14 Отец А. Р. Минцловой -- Рудольф Иванович Минцлов (1811--1883) -- был педагогом и библиографом.

15 Безант Анни (1847--1933) -- общественная деятельница Англии и Индии, одна из учредителей Теософского общества.

16 Историю этого дворца Волошин рассказал в статье "Багатель" (газета "Двадцатый век". Спб., 1906. N 76. 14 (27) июня).

17 М. Сабашникова уехала в Цюрих 11 (24) июня 1905 года.

18 Из стихотворения Волошина "В зеленых сумерках, дрожа и вырастая..." (26 июня 1905 года).

19 Письма Волошина были впоследствии возвращены ему М. В. Сабашниковой и сохранились в его архиве. Но упомянутого среди них не обнаружено.

20 Волошин путешествовал с А. В. Сабашниковым по Сен-Готарду в начале августа 1905 года.

21 Порфирий (232/233 -- между 301 и 304 гг.) -- античный философ, представитель неоплатонизма.

22 Венчание Волошина и Сабашниковой состоялось в Москве 12 апреля 1906 года в церкви святого Власия в Большом Власьевском переулке (на Арбате). Отъезд в Париж -- 15 апреля.

23 Встреча Штейнера с Мережковскими и Философовым произошла в июне 1906 года.

24 Кармен Сильва -- псевдоним румынской королевы Елизаветы (1843--1916). Писала стихи и пьесы (на немецком языке).

25 Соловьева Поликсена Сергеевна (1867--1924) -- поэт и драматург (псевдоним -- Allegro), художница; сестра Вл. Соловьева. В Коктебеле жила на собственной даче вместе с Натальей Ивановной Манасеиной (1869--1930) -- детской писательницей. В Петербурге они вдвоем издавали журнал для детей "Тропинка".

26 О сложности своих отношений с матерью Волошин писал, например, Ю. Л. Оболенской 15 мая 1915 года: "Я не хочу обвинять маму -- не подумайте этого, но по отношению ко мне, в известн[ые] минуты, в ней подымается нечто совершенно вне сознания стоящее, что она ни выразить, ни вспомнить точно потом не может. Встает какое-то безумие. И я совсем, совсем не понимаю, что это. Потому что именно того разумного, ясного, открытого, решительного человека, которым она бывает всегда, в ней тогда нет. И это мучает безумно, все парализует внутри, готов бываешь на все, чтобы исправить, и тогда еще больше запутываешь" (ИРЛИ).

27 Богаевский Константин Федорович (1872--1943) -- художник-пейзажист. Ему посвящены Волошиным цикл стихов "Киммерийские сумерки" (1907--1909), стихи "Другу" (1915) и "Преосуществление" (1918). Письма Волошина к Богаевскому см.: журнал "Искусство". 1979. N 9. С. 65--66.

28 Петрова Александра Михайловна (1871--1921) -- преподавательница феодосийской женской гимназии. Волошин посвятил ей раздел "Звезда-полынь" своей первой книги стихов и стихотворение "Святая Русь" (1917). В наброске мемуарной статьи об А. М. Петровой "Киммерийская сивилла" (1921) он писал о ней как о человеке, "оплодотворившем многие десятки людей, с ней соприкасавшихся", -- утверждая: "В развитии моего поэтического творчества, равно как и в развитии живописи творчества К. Ф. Богаевского, А[лександра] М[ихайловна] сыграла важную и глубокую роль" (ИРЛИ).

29 Волошин посвятил Вячеславу Иванову "Гностический гимн деве Марии" (ноябрь 1906 г.). В Петербурге Вяч. Иванов жил на углу Таврической (дом N 25) и Тверской улиц.

30 Работа Вяч. Иванова "Эллинская религия страдающего бога" печаталась в журнале "Новый путь" (Спб., 1904. N 1--4, 8, 9), окончание ее (под заглавием "Религия Диониса") -- в журнале "Вопросы жизни" (Спб., 1905. N 6, 7).

31 Волошины переехали в Петербург около 10 октября 1906 года. Они сняли две комнаты в квартире художницы Е. Н. Званцевой (1864--1922) -- организатора частной художественной школы.

32 М. Сабашникова пишет здесь о "Гностическом гимне деве Марии" Волошина, в котором мотив "звезды Марии" -- один из ведущих. Он звучит, например, в таких строках "Гностического гимна...":

Марев-Мара,

Море безмерное,

Amor-Maria --

Звезда над морями!..

33 Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866--1907) -- писательница. Волошин посвятил ей стихотворение "Одиссей в Киммерии" (1907).

34 Лев Самойлович Бакст (1866--1924) -- художник. Ему Волошин посвятил стихотворение "Армагеддон" (1915).

35 Имеется в виду книга Георгия Чулкова "О мистическом анархизме" (Спб., 1906), которая вызвала оживленную полемику).

36 "Соборный индивидуализм" (Спб., 1907) -- книга историка литературы Модеста Людвиговича Гофмана (1887--1959), написанная под сильным воздействием идей Вяч. Иванова.

37 Книга рассказов Л. Зиновьевой-Аннибал "Трагический зверинец" вышла в 1907 году в петербургском издательстве "Оры". Один из рассказов этой книги посвящен Волошину.

38 Уехав в Финляндию (в Мустамяки) около 28 ноября 1906 года, Сабашникова вернулась в Петербург 21 или 22 декабря того же года.

39 "Кубок метелей" -- книга А. Белого. Сабашникова, по-видимому, имеет здесь в виду стихи А. Блока из цикла "Снежная маска" (1907).

40 Франциск Ассизский (1182--1226) -- итальянский религиозный деятель и писатель.

41 "Сонет об осени" М. Сабашниковой -- стихотворение "Осень" ("Осиянный осенью..."); оно было напечатано в альманахе "Цветник Ор. Кошница первая" (Спб., 1907) -- вместе с тремя другими стихотворениями Сабашниковой (цикл "Лесная свирель").

42 Лекцию "Пути Эроса" (комментарий к "Пиру" Платона) Волошин читал в Москве 27 февраля 1907 года.

43 Волошин уехал с матерью из Петербурга 19 марта

1907 года. Решение расстаться с женой возникло у него 10 марта. В этот день он записал в дневнике: "Я решил, что я не должен связывать планов своей жизни с Амориными * планами. Что все лето я проведу в Коктебеле, а осенью отправлюсь в Париж. Она же поступит так, как ей заблагорассудится -- поедет со мной или останется в России. <...> Это все я сказал Аморе..." (ИРЛИ).

* Речь идет о М. В. Волошиной (Сабашниковой) (см. сноску на с. 94).

44 Ивановы уехали в имение Загорье Могилевской губернии.

45 М. Сабашникова приехала в Коктебель 14 августа 1907 года.

46 Ошибка: Л. Д. Зиновьева-Аннибал скончалась в Загорье 17 октября 1907 года.

47 В Гамбурге Волошин был между 11 (24) и 15 (28) мая 1908 г.

48 Эта трактовка миссии Иуды (идущая от учения гностической секты каинистов) была изложена Волошиным в набросках к статье "Евангелие от Иуды", так и не написанной, и в стихотворении "Иуда-апостол" (1919).

49 Рассказ о событиях 1914 года. В селении Дорнах, близ Базеля, с 1913 года шло строительство Иоганнес-Бау (или Гётеанума) -- своего рода храма для членов Антропософского общества, основанного в то время Р. Штейнером (сначала -- как ветвь Теософского общества). Волошин прибыл в Дорнах 18 (31) июля 1914 года, в день начала войны России с Германией. Пробыл здесь до 2 (15) января 1915 года.

50 "Тайны" -- поэма Гёте. Сообщая Ю. Л. Оболенской о "заказе" на этот занавес ("21 метр на 19 = 400 квад[ратных] метров!!!"), Волошин делился с ней в письме, написанном в конце ноября 1914 г.: "Я задумал его по воспоминанию испанского монастыря Монсеррато под Барселоной, где был когда-то, а сегодня из одного письма Вильгельма Гумбольдта узнал, что Гёте именно имел в виду Монсерратский монастырь" (ИРЛИ).

51 Волошин должен был выполнять работу над занавесом вместе с голландкой Ван-Дрей -- "ясновидящей", живопись которой была, по словам Волошина, не "наивно-примитивна", как хотелось бы антропософам, а "в высшей степени полуграматна".

52 Об антропософии Волошин писал Ю. Л. Оболенской: "Я принимаю целиком самого Штейнера, но очень плохо принимаю общество и часто делаю из слов его совсем другие выводы". И в другом письме: "Протест больше против штейнеристов, в которых я видел людей, "изнасилованных истинами", чем против него самого. Не принимал я также догматизма его последователей" (ИРЛИ).

53 Волошин был призван в армию (уже будучи в России, осенью 1916 года) как ратник ополчения 2-го разряда. Отказ от воинской службы он высказал в письме на имя военного министра: "Я отказываюсь быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт: как европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участие в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины. Ответственен не тот, кто начинает, а тот, кто продолжает. Наивным же формулам, что это война за уничтожение войны, я не верю.

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм -- и в том числе самой совершенной -- храма человеческого тела.

Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг -- понимание.

Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, так как поражение на физическом плане есть победа на духовном, -- не может быть солдатом" (ИРЛИ).

Освобожден же Волошин был из-за поврежденной правой руки (при падении с велосипеда в 1910 г.).